

Дерек

Джармен

Предисловие Оливии Лэнг



Современная

природа

Дерек Джармен

Современная природа

«Ад Маргинем Пресс»

1991

УДК 821.111-821 Джармен Д.
ББК 84(4Вел)6-49я44

Джармен Д.

Современная природа / Д. Джармен — «Ад Маргинем Пресс»,
1991

ISBN 978-5-91103-480-1

Каждый год сад Дерека Джармена (1942–1994) в Дангенессе привлекает сотни посетителей. Это странное и ветреное место – маленький сад рядом со скромной, черной, как смоль, Хижиной Перспективы. Но на гальке пляжа Джармен вырастил всевозможные растения; одни из них были уничтожены ветром и морскими брызгами, в то время как другие процветали, являя неожиданную красоту посреди пустынного пейзажа. В этих невероятных дневниках своего сада британский режиссер, художник и икона своего времени, Джармен исследует природу искусства, политики, жизни и смерти.

УДК 821.111-821 Джармен Д.
ББК 84(4Вел)6-49я44

ISBN 978-5-91103-480-1

© Джармен Д., 1991
© Ад Маргинем Пресс, 1991

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

28

Дерек Джармен

Современная природа

Derek Jarman

Modern Nature

With an introduction by Olivia Laing

Перевод предисловия: Александра Соколинская

Copyright © Derek Jarman 1991

Introduction copyright © Olivia Laing 2018

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019

© Фонд развития и поддержки искусств «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2019

* * *

«Современная природа» – моя самая любимая книга. Я перечитывала ее множество раз, и она повлияла на меня как ничто иное. Впервые эти дневники попались мне в руки год или два спустя после выхода в 1991 году, само собой, это было еще до смерти Джармена в 1994-м. А рассказала мне о них сестра Китти. Тогда ей было десять или одиннадцать лет, а мне – двенадцать, может, тринадцать.

Странные дети. Мама у меня была лесбиянкой, и мы втроем обитали в безобразной новой застройке под Портсмутом, где все тупики назывались в честь уничтоженных ими угодий. Жилось нам вместе неплохо, однако мир за порогом дома казался шатким, неприятным и непроходимо серым. Я ненавидела свою школу для девочек, учениц-гомофобов и докучливых учителей, проявляющих излишнее любопытство к нашей «семейной ситуации». Это была эпоха Статьи 28, запрещавшей местным органам власти пропагандировать гомосексуальность, а школам – поощрять «профанацию семейных отношений». Заклейменные государством как «притворная семья», мы существовали под гнетом этих пагубных правил, в преддверии разоблачений и неминуемой беды.

Сейчас не могу точно припомнить, как впервые Дерек вошел в мою жизнь. Когда «Channel 4» поздно вечером показал «Эдуарда II»? Китти была сражена наповал. Годами она, сидя у себя в комнате поздними вечерами, смотрела и пересматривала его фильмы, самая неожиданная и горячая поклонница Джармена. Особенно ее завораживала сцена, когда Гавестон и Эдуард танцуют в тюрьме, оба в пижамах, под песню Энни Леннокс «Всякий раз, когда мы прощаемся».

А меня покорили книги. Я мигом влюбилась в «Современную природу». Решив перечсть ее этой зимой, я была ошеломлена, насколько большим подспорьем дневники стали в моей взрослой жизни. Именно благодаря им у меня сложилось представление о том, что значит быть художником, иметь политические убеждения, я даже узнала, как разбить сад (играючи, упорствуя, презируя границы, свободно взаимодействуя).

Под влиянием «Современной природы» в двадцать лет я увлеклась травами, околдованная бесконечным перечнем растений: сладко-горький паслен, ястребинка, стальник – вперемишку с выдержками из старинных травников Апулея и Жерарда о свойствах барвинка и кукушечного арума. Когда я работала над своей первой книгой, «К реке», меня направлял именно голос Джармена.

В начале 1990-х Дерек часто печатался в газетах и выступал по радио. Он, единственный из британских знаменитостей, публично признался, что инфицирован ВИЧ, в итоге сде-

лавшись мальчиком для битья. «Я всегда ненавидел тайны, – так он объяснил свой поступок, – язвы, которые уничтожают». Джармен был подвергнут остракизму, цензуре, лишился финансирования и другой поддержки, но сохранил обаяние, остроумие и замашки озорника.

Он боялся, что заявление поставит под угрозу его будущее как кинорежиссера, отныне ничем не застрахованное. Он также знал, что служит объектом ненависти для бульварной прессы и видимой мишенью для паникеров, испытывающих ужас перед СПИДом. И это была не паранойя. В заметке, опубликованной в 2017 году в «Лондонском книжном обозрении», Алан Беннетт вспоминает, как в 1992 году он сидел позади Джармена на премьере «Ангелов в Америке». Направляясь к своему креслу, он чуть задел его за рукав и «взмолился ко всем богам, чтобы Джармен не обернулся и не пожал ему руку. Так я позорно промолчал». В перерыве он помчался наверх и наклеил пластырь, после чего уже смог поздороваться. Беннетт рассказал этот случай, как он объяснил, «дабы напомнить об истерии вокруг Джармена, которой поддался и он сам».

Трудно передать на словах, насколько мрачными и страшными были те года. Тогда еще не придумали интернет – эту вызывающую зависимость мутацию волшебного зеркала доктора Ди. Люди знали очень мало. Даже будучи больным, Дерек, вспыльчивый и до невозможности шумливый, не изменил своих привычек. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, что существует другая жизнь – дикая, необузданная, радостная. Он распахнул двери и показал нам рай. Он сам вырастил райский сад, затейливый и бурнорастущий. Я не веру в модели для подражания, но даже теперь, спустя четверть века, спрашиваю себя: а как бы поступил Дерек?

Дерек Джармен начал дневник, со временем оформившийся в «Современную природу», 1 января 1989 года с описания Хижины Перспективы, крошечной смоляно-черной рыбацкой хижины на мысе Дангенесс, которую он купил под воздействием импульса за тридцать две тысячи фунтов на доставшееся от отца наследство. После проведенных в Лондоне десятилетий у него наконец появилась возможность вернуться к своей первой любви – садоводству.

На первый взгляд, Дангенесс мало подходил для садовода-энтузиаста. Прозванное «пятой стороной света», это было особенное место – с тяжелым микроклиматом, сильными ветрами и пересохшей и просоленной почвой, от которой жухли листья. И эту каменную пустыню с маячившей, точно фантом, атомной станцией Джармен задумал превратить в оазис. Как и все его начинания, проект осуществлялся им собственноручно и в рамках маленького бюджета. Возя тачками навоз и выкапывая в гальке ямы, он упрашивал старые розовые кусты и инжир цвести, словно это были актеры, пуская в ход все тот же обезоруживающий шарм.

Первые страницы «Современной природы» читаются точно заметки Гилберта Уйата или Дороти Уордсворт – как научные записки о местной флоре и фауне, приправленные замечаниями собирателя древностей. У Джармена был глаз художника, и он улавливал, как меняются оттенки моря, неба и камней, зоркое око примечало на берегу невероятные богатства. Глауциум и катран росли прямо на гальке по соседству с колокольчиками, коровяком, синяком обыкновенным, раkitником и утесником, здесь же водились ящерицы и двенадцать разновидностей бабочек.

Но как Джармен объяснил художнице Мэгги Хэмблинг, его интересы не совпадали с пристрастиями сановных натуралистов Викторианской эпохи. «Да, понимаю, – ответила она. – Вы открыли для себя современную природу». Идеальное определение, охватывающие как ночные шатания по лесопарку Хэмпстед-Хит, так и выдергивающий из сна кошмар, навешанный ВИЧ. Из-за его умения писать откровенно о сексе и смерти – на две самые очевидные темы – большая часть сочинений о современной природе кажутся ханжескими и вялыми. Подход Дерекa к природе радикален, и мне он представляется лучшим, поскольку не исключает из сферы интересов тело. Джармен описывает обостряющуюся болезнь и нарастающее желание

с такими же скрупулезностью и вниманием, с какими осматривает крушинную облепиху или дикую смоковницу.

Замысел разбить сад был своеобразной реакцией на отчаяние, в которое его повергли комплексное лечение и почти стопроцентный смертный приговор. Сад мог стать заделом на будущее и стимулом вспомнить прошлое. Джармен заново познавал себя, возясь с растениями, которые обожал мальчишкой, – незабудками, семпервивумом, гвоздичным деревом, – мысленно переносился в сады своего скитальческого и несчастливого детства.

Его отец был летчиком ВВС Великобритании, и семья часто переезжала. Ребенком Джармен жил на великолепных привольных берегах озера Маджоре в Италии, в Пакистане и в Риме. В Сомерсете из-за поселившихся на чердаке диких пчел у них рухнула стена дома, окатив двор волной меда.

Чувствительный ребенок, Дерек воспринимал сад как зону волшебства и неисчерпаемых возможностей, готовую альтернативу строго регламентированной жизни военнослужащего. Он вспоминает, как делал гнезда из свежескошенной травы, а дождливыми днями сосредоточенно изучал замечательные цветные иллюстрации в книге «Прекрасные цветы и секреты их выращивания». Отец дразнил его неженкой и кислым, как лимон, а однажды, по словам родственника, выкинул маленького сына из окна.

Сад, в особенности запущенный, очень эротичен. В приготовительной школе жалкий, брошенный на произвол судьбы, по темпераменту явно не дотягивающий до планки «мускулистого христианина», Дерек получил первый сексуальный опыт с таким же, как он, заблудшим мальчишкой; в экстазе они ласкали друг друга на поляне, поросшей фиалками. Парень назвал это «приятным ощущением». Но произошло неизбежное: их застукали, первое мучительное переживание, изгнание из Эдема, травма, которая воспроизводилась из фильма в фильм.

Школа. Он звал ее Извращенным Раем – битье вместо объятий, несчастные мальчики в форме не по размеру, издевающиеся друг над другом, обделенные любовью, отрешенные от собственных тел. Даже на пороге взросления у Джармена сохранилось жгучее чувство стыда и он так и не научился говорить о своих истинных желаниях, не говоря уже о том, чтобы их исполнять. «Испуганный и запутавшийся, я считал себя единственным в мире гомосексуалом».

«Современная природа» полна сожалений о потерянном времени и годах удушья. Лишь решившись поступить в школу изящных искусств и начав – к счастью для себя – заниматься любовью с мужчинами, Джармен вновь обрел рай взаимных желаний, пусть и по-прежнему нарушая закон.

На Джармене благодатно отразилось классическое образование. Даже по зарисовкам неустойчивой погоды видно, что он постоянно колеблется между двумя ипостасями – бунтовщиком и антикваром. Такова уж порочная система: да, он – экспериментатор-гомосексуал, которому нравится доводить до белого каления Мэри Уайтхаус. Но есть еще и традиционалист, не имеющий кредитной карты и прячущий факс в корзине для белья, который сожалеет об утраченных ритуалах и учреждениях, о множестве огородов в Кенте, ставших ненужными из-за засилья супермаркетов, и об елизаветинской медвежьей яме на Бэнксайд, снесенной застройщиками.

Нельзя сказать, что Джармен ностальгирует по прошлому, и уж точно он не сторонник «Малой Англии». Он выступает против стен и заборов, за диалог, сотрудничество и обмен. Как он пишет на самой первой странице: «Граница моего сада – горизонт». Его восхищает геральдическая, романтическая, возможно, наполовину вымышленная Англия. «Средние века рождали в моем воображении рай, – пишет он мечтательно. – Не „Рай поденщика“ Уильяма Морриса, но нечто подземное, как водоросль или коралл, что плавают в галереях украшенного драгоценностями реликвария».

Как студент лондонского Кингс-колледжа, в 1960-е он слушал лекции историка архитектуры Николаса Певснера, чей наметанный глаз примечал временной разнотой в любом взя-

том наобум английском городе или деревенском пейзаже. У Джармена бывали периоды, когда, казалось, его захлестывало прошлое, становясь почти осязаемым, – чувство, роднившее его с Вирджинией Вулф, которое он передал в фильмах «Юбилей» и «Разговор с ангелами», магических путешествиях во времени.

Утраты Англии – меланхолия. Острая бритва – СПИД. Дневник Джармена несет печать смерти, сообщая о преждевременной и катастрофической потере многих друзей. «Старость быстро пришла к моему замерзшему поколению», – горестно отмечает он и часто сам мечтает о небытии. В четверг, 13 апреля 1989 года он пишет о телефонном разговоре с Говардом Брукнером, блестящим молодым нью-йоркским кинорежиссером, которого он очень любил. К тому времени Брукнер уже не мог говорить, и в течение двадцати минут Джармен «слышал низкий стон раненого», усиленный чудо-технологиями, которые не сумели его излечить, зато благодаря им его голос пересек пол земного шара.

СПИД также усиливал ощущение грядущего апокалипсиса. Ежедневное созерцание зловещей громады – атомной станции Дандженесс Би, которая, казалось, вот-вот взлетит на воздух, превратившись в облако пара, – наводило Джармена на тревожные мысли о глобальном потеплении, парниковом эффекте и озоновых дырах. Есть ли у этого мира будущее? Неужели прошлое безвозвратно кануло в Лету? Что делать? Не терять времени понапрасну. Сажать розмарин, книпхофию, сантолину, обращать страх в искусство.

Но постойте! Нельзя сбросить со счетов и другого Дерека – смутьяна, словоохотливого и неугомонного, как плутоватый ворон его соседки, флиртующего в гей-баре «Comptons», перемывающего косточки и строящего планы насчет пирогов из Maison Bertraux. Он крадет отростки всех растений, попадающихся ему на глаза, яростно обрушивается на бульварную прессу, Британский фонд охраны памятников, билетные автоматы и «Channel 4», а затем как ни в чем ни бывало заключает, что судьба проявила к нему благосклонность, подарив поздние радости.

«ХБ, любовь», больничная записка. Его счастьем был Хинни-Бист – так он прозвал своего партнера Кейта Коллинза. Коллинз, программист из Ньюкасла, был необычайно красив. Они познакомились на фестивале в 1987 году и к тому времени, как был начат дневник, жили и работали вместе, курсируя между Хижиной Перспективы и домом Феникса – крошечной студией Джармена на Чаринг-Кросс-роад.

«Я престарелый полковник, а он – юный младший офицер», – сказал Джармен в 1993 году журналисту, ведущему колонку «Как мы познакомились» в газете *Independent*, а ХБ вставил: «У нас очень необычные отношения – мы не любовники и не возлюбленные. Скажу, на кого мы похожи: на Джеймса Фокса и Дирка Богарда из фильма „Слуга“. Я постоянно произношу фразы вроде такой: „Позвольте заметить, сэр, мой пирог получил самые лестные отзывы“».

Присутствие ХБ в «Современной природе» весьма ощутимо. Он дает бой теням, выскакивает из машин, точно черт из табакерки, по три часа принимает ванны, пуская по воде коробки с кукурузными хлопьями, и молится, опускаясь под воду с головой. Он поддразнивает и утешает Джармена, готовит ему ужин, блестяще играет в кино, у него даже монтажная работает как часы.

Кино – более непреклонный возлюбленный. «По глупости я желал, чтобы мои фильмы стали домом, содержащим в себе все мои личные вещи», – пишет Джармен, однако, чтобы донести свое видение до мира, требуются несчетные компромиссы и отказ от надежд. И все же он до головокружительного восторга любил киносъемки, этот импровизированный, великолепно костюмированный хаос, ощущение полета седалищем, воссоздание образов, почерпнутых из сновидений.

Периоды созерцания, связанные с Хижиной Перспективы, все чаще отвлекали его от кипучих трудов, когда он пытался втиснуть десятилетние наработки в пригоршню лет. За два

года, отраженные в дневнике, Джармен снял фильм «Сад», подготовил видеоряд для первого турне Pet Shop Boys, равно как и выступил режиссером самого шоу, тогда же он начал работать над «Эдуардом II», параллельно рисуя иногда по пять картин в день. У него было мало времени и множество идей.

Его деятельность резко оборвалась весной 1990 года, когда он оказался в палате больницы Сент-Мэри в Паддингтоне. Он сражался с туберкулезом печени, пока на улицах бушевали погромы, спровоцированные маршем против подушного налога. Записи, сделанные в больнице, необычайно бодрые, в них не ощущается ни страха, ни страдания. Облаченный в «пижаму цвета берлинской лазури и кармина», он с любопытством наблюдает за своим состоянием и не без юмора описывает надвигающуюся слепоту и обильный ночной пот. Оказавшись абсолютно беспомощным, переполненный воспоминаниями о собственном несчастливом детстве, он к своей радости обнаруживает, что окружен любовью.

Дневник заканчивается в больнице, длинные перечни растений уступают место названиям лекарств, поддерживающих жизнь. Азидотимидин, ретафер, сульфадiazин, карбамазепин – унылая колыбельная начала 1990-х. Тем не менее Джармен встанет с больничной койки и продолжит работать, чтобы снять «Эдуарда II», «Витгенштейна» и «Блю», последние и самые глубокие картины. За четыре года он совершает практически невозможное и умирает в возрасте 52 лет.

Очень хотелось бы, чтобы он еще пожил. Хотелось бы, чтобы он был с нами – жизнерадостный и увлеченный, стряпающий нечто практически из ничего. Диапазон и масштаб его работ ошеломляют: одиннадцать полнометражных фильмов, каждый из которых раздвигает границы искусства кино, привнося в него нечто новое, от звучащей в «Себастьяне» латыни до неменяющегося экрана в «Блю»; десять книг, десятки короткометражек и музыкальных клипов Super 8, сотни картин; декорации к балету «Джазовый календарь» Фредерика Эштона, операм «Дон Жуан» Джона Гилгуда и «Похождения повесы» Кена Рассела, к фильму последнего «Дьяволы», не говоря уже о культовом саде.

Сейчас уже не бывает таких людей. На днях я прочитала твит журналиста, защищающего тех, кто пишет для изданий вроде *Daily Mail*: «Журналистика – умирающая профессия, работникам пера тоже надо платить за квартиру. Мы, безусловно, не так богаты, чтобы ставить мораль выше потребности выжить».

Воображаю, как смеялся бы над этим Дерек. Вся его жизнь была опровержением подобной жалкой логики. Моральные суждения как роскошь для сверхбогатых! Он считал кино умирающей индустрией, но при этом не прекращал снимать, не дожидаясь финансирования или разрешения, а беря камеру Super 8 и используя вместо актеров друзей. Когда ему и дизайнеру Кристоферу Хоббсу нужно было, чтобы задник в «Караваджо» выглядел как ватиканский мрамор, они зачернили бетонный пол и запрудили его водой – иллюзия полноты, ставшей полноценной благодаря богатому воображению, богатству, состоящему не в наличности, а в смекалке и усердии. За фильм «Военный реквием» он получил всего десять фунтов. На еду ему хватало, а чем еще заняться, кроме любимой работы? Непреложно стремясь вперед, ведь его интересовали «съемки, а не фильм».

Пара строк врезалась мне в память более двадцати лет назад. Она приведена в «Современной природе» и повторяется в «Хроме. Книге о цвете» и «Блю» (Дерек очень любил начинать новым смыслом любимые кадры и строки). Это вольная цитата из «Песни Песней Соломона», слабый отголосок христианства, сделавший его детство столь несчастным.

*Ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти,
И наши жизни воссияют как искры, бегущие по стеблю.*

Такова уж наша участь – то погружаться во тьму, то рассеивать мрак, вспыхивая ярким пламенем.

Оливия Лэнг, 2018

1-е, воскресенье. январь 1989

Черная, как смоль, Хижина Перспективы стоит на гальке Дангенесса. Ее построили на краю моря восемьдесят лет назад; однажды ночью, во время шторма, волны ревели у самой двери, угрожая поглотить весь дом... Сейчас море отступило, оставив полосы гальки. Их ясно видно с воздуха; они расходятся от маяка на краю Несса, словно контурные линии на карте.

Окна Хижины выходят к дороге, в сторону восходящего солнца, бросающего блики на серебристый морской туман. Сквозь плоскую гальку цвета охры пробивается маленький темно-зеленый ракитник. Дальше, на краю моря, виднеются силуэты нескольких хижин и рыбацких лодок, а также давно брошенный кирпичный барак, причудливо наклонившийся, словно дамская шляпка; много лет назад в нем кипятили в янтарном консерванте рыбацкие сети.

Здесь нет стен и заборов. Граница моего сада – горизонт. В этом пустынном пейзаже тишину нарушают лишь ветер и чайки, ссорящиеся вокруг возвращающихся с дневным уловом рыбаков.

Здесь больше солнечного света, чем где бы то ни было в Британии; солнце и постоянный ветер, превратившие галечный пляж в каменистую пустыню, где выживает лишь самая стойкая трава, подготовили почву для серовато-зеленого приморского катрана, синего воловика, красного мака, желтого очитка.

Галечный пляж – дом жаворонков. Весной я насчитал дюжину птиц, поющих в голубых небесах. Стайки зеленушек кружатся по спирали, пойманные стремительными порывами ветра. Во время отлива море отступает, обнажая широкий песчаный пляж, на фоне которого морские птицы, летящие близко к земле, исчезают, словно ртуть. Рядом с рыбацкими тралями кормятся чайки. Когда начинаются зимние бури, бакланы едва касаются волн, что ревут вдоль Несса и беспорядочно швыряют камни на крутые берега.

Окна моей кухни, расположенной в задней части дома, выходят налево, на старый маяк Дангенесса и железную серую громаду атомной станции, перед которой темно-зеленый ракитник и утесник, покрытый ярко-желтыми цветами, образуют на гальке маленькие островки; довершает пейзаж рощица низкорослых, побитых штормами ив и тополей.

В центре рощицы можно найти бесплодную грушу, которая за целый век вытянулась на десять футов; под ней – ковер из фиалок. Это тайное место охраняет узловатый шиповник, а на лугу тихими летними днями собираются сотни бархатниц и голубянок, порхающих над острыми верхушками крапивы, усеянной черными черепаховыми гусеницами.

Высоко в небе парит одинокий ястреб, а вдали, на синем горизонте, в жарком мареве то появляется, то исчезает высокая средневековая башня церкви Лидда, собора болот.

Расцвел небесно-голубой огуречник, один из многих, выросших самосевом у задней двери. На утреннем морозе он вянет, но быстро приходит в себя: бодрый, как огурчик.

5-е, четверг. январь 1989

В саду взошел первый крокус; в прошлом году я посадил среди гальки несколько лукович в маленькие куски торфа. Все утро он пытался раскрыться, притягивая к себе свет, когда солнце начало исчезать за домом.

9-е, понедельник. январь 1989

Посадил розы: *Rugosa double de Coubert Harrisonii*, *Rosa mundi* – несколько старых сортов роз от Расселов из Эрл-Корта. Когда я закончу, в саду будет рассеяно около тридцати кустов, насколько возможно не нарушающих его естественность.

Я приехал в питомник, расположенный на маленькой площади под платанами, в сумерках – романтическое место. Прогуливаясь между рядами растений и разглядывая выцветшие фотографии над каждым из них, погружаешься в мечты о долгих летних днях. *Rosa mundi*, роза мира, с ее ало-розовыми полосатыми цветами, была когда-то выведена из лекарственной *Rose officinalis*, розы Прованса. В двенадцатом веке ее привезли крестоносцы, а Гильом де Лоррис обессмертил ее в поэме «Роман о Розе». Подойдя заплатить за цветы, я встретил за кассой своего старого приятеля Андре. Он посмеялся над моей идеей дикого сада.

16-е, понедельник. январь 1989

Ненасытный кролик сожрал второй из маленьких падубов; чтобы добраться до листьев, он прогрыз стебель. Я подстриг то малое, что осталось. В прошлом году, пересаженный из уютной материковой почвы, он потерял на холодном восточном ветру все свои листья; теперь почерневшие остатки медленно возвращались к жизни.

Эти падубы были первыми посаженными мной растениями – в больших кадках, закопанных в камни. Меня подбадривало то, что они растут на другой стороне Несса в Холмстоуне.

Изуродованные ветрами и приобретшие пугающие формы, эти древние деревья впервые упоминаются Лиландом в «Дневниках»: «Они словно ловчие сети и погубили множество птиц».

18-е, среда. январь 1989

Продолжаю сажать розы: *Rosa Foetida bicolor*, еще один старый цветок, с двенадцатого столетия растущая на Ближнем Востоке, с простыми ярко-желтыми и красными цветами; и *Cantabrigiensis*, бледно-желтая, найденная в 1930-е годы в ботанических садах Кембриджа.

Прекрасный солнечный день; из-за усиливающегося парникового эффекта зима испаряется.

В полдень из местной конюшни привезли удобрения. Разбрасывая их, я осознал, насколько же физически не готов к этому: мне было невероятно сложно поспевать за приветливым фермером из Глазго, которому было явно за шестьдесят. Без тележки мне пришлось целый день таскать тяжелые мешки, чтобы разбросать по саду всего лишь треть груза. Удобрения стоили двадцать четыре фунта, а всё вместе – и удобрения, и розы – обошлось в двести фунтов, наполнив меня счастьем. К пяти часам у меня так все болело, что я решил остановиться. В 16:30 солнце скрылось за атомной станцией.

По обе стороны от входной двери расположены две аккуратные цветочные клумбы, каждая двенадцати футов в длину и два фута шесть дюймов в ширину: раньше в них лежали старые куски бетона и кирпичи, которые я аккуратно вынул и укрепил ими подъездную дорожку. Машины постоянно проваливаются в гальку, и их приходится вытягивать на буксире.

Во время отлива я собираю большие продолговатые камни, обнажающиеся после сильного шторма, и окружаю ими клумбы, вкапывая вертикально, словно зубы дракона. Перед ними выложены два маленьких круга по двенадцать камней каждый; они образуют примитив-

ные солнечные часы. Несмотря на засушливое лето, цветы в этих клумбах отлично прижились. Помогает небольшое мульчирование.

В них растут молодило, очиток, армерия, гвоздика, камнеломка, смолевка, желтофиоль, пурпурный ирис, календула, бессмертник, рута, ромашка, аквилегия, садовый мак, сантолина, настурции и левкой, вечерами наполняющий воздух тяжелым запахом и влекущий к своему нектару мотыльков.

19-е, четверг. январь 1989

В сумерки, под бледной луной, выкопал крепкий побег одного из кустов бузины у Лонг Питс и посадил перед окном кухни рядом с шиповником.

В прошлом марте я сделал то же самое, посадив растение у кухонной стены; оно принялось и к концу лета было уже выше двух футов.

В Нессе бузина образует компактные пирамидальные кусты около девяти футов высотой; вокруг моего дома таких кустов четыре-пять; их обжигают соленые морские брызги, но в остальном они чувствуют себя неплохо – в этом году они заметно подросли, их почки набухают.

Бузина отгоняет ведьм и ее не стоит выкорчевывать, если растет рядом с домом.

31-е, вторник. январь 1989

Мне исполнилось 47.

Морской туман рассеялся, день солнечный и ясный. Бродя по саду, я слышал пение жаворонка. Перед домом цветут крокусы, у нарциссов уже бутоны. Розы покрылись листвой. Один из кустов розмарина зацвел; проросли круглые семена катрана.

После обеда я целый час просидел на солнце в одном свитере – никогда не делал ничего подобного в свой день рождения, который всегда был холодным, серым днем.

Разбросал по саду горсть семян катрана; они быстро прорастают, за год превращаясь в роскошные растения: большие серо-зеленые листья ловят летнюю, похожую на жемчуг росу; их совершенство не исчезает под челюстями хищных гусениц. Здесь, на краю моря, эти изысканные листья танцуют канкан среди выброшенного на берег мусора. В это время года их практически не видно, но, если присмотреться, можно заметить распускающиеся крепкие фиолетовые листья. В апреле они станут серовато-зелеными, а в июне покроются пеной из белых цветов.

1-е, среда. февраль 1989

Цветы появляются и оплетают, словно вьюнки, все тропы моего детства. Самыми любимыми были синие звездочки незабудок, мерцавшие в темноте эдвардианских кустов сада моей бабушки. Чистые снежинки, разбросанные под приветливым солнцем, и один пурпурный крокус, выделяющийся среди золотистых соседей. Дикая аквилегия, чьи цветы были похожи на позвонки, и пугающий рябчик, прячущийся по углам, словно змея...

Эти весенние цветы – мои первые воспоминания, потрясающие открытия; недолго мерцающие перед тем, как умереть, их очарование делило время на дни и месяцы, как гонг, что звал нас к обеду, нарушая мое уединение.

Гонг приносил в сад, где я был один, давящую неотвратимость того, другого мира. В то драгоценное время я стоял и смотрел, как сад растет, чего никак не понимали мои друзья. Там, в мечтах, цветы раскрывались и закрывались, роза внезапно опала на дорожку, тюльпан терял лишь один лепесток, и его совершенство исчезало навсегда.

Пыльный плющ, страшный из-за покрывавшей его паутины; крапива, вылезавшая летом и жалившая голые колени; я научился обходить белладонну, относясь к ней с неприязненным уважением. Но из всех растений самым большим страхом наполняли меня одуванчики, из которых, если их сорвать, вытекало белое молоко.

Однако, несмотря на свои тени, бабушкин сад был солнечным местом; за ним больше не ухаживали, ограждавший его газон давно растворился в полчищах маргариток и лютиков, и он постепенно дичал.

2-е, четверг. февраль 1989

Утесник с яркими золотистыми цветами превращен ветром в скопище странных форм; перекрученные ветви искривляются, словно выжатое белье. Это единственные зимние цветы Несса; высота некоторых кустов достигает шести футов, они завершаются плотными пучками острых веток, скрипящих на ветру. Другие кусты цепляются за землю, образуя аккуратные конусы и пирамиды; кролики тщательно обглаживают их, словно делают фигурную стрижку. «Когда утесник не цветет, не время для поцелуев». Не стоит волноваться – здесь он всегда в цвету.

3-е, пятница. февраль 1989

В течение двух месяцев после переезда я каждый день часами собирал осколки бесчисленных разбитых бутылок и фарфора, куски ржавого железа. Здесь валялся велосипед, кастрюли и даже старый остов кровати. Мусор был разбросан по всему берегу. Каждый день мне казалось, что я собрал все, но потом выяснялось, что в гальке за ночь вырос еще один мусорный побег.

Для такой уборки лучше всего годились солнечные дни, поскольку стекло и черепки блестяли. Многое из этого я закопал на месте старого кострища в нижней части сада, в огромной яме, которую закрыл травой, когда начал строить галечный сад.

На открытии галереи я рассказал о своем саде Мэгги Хэмблинг и добавил, что собираюсь написать об этом книгу.

Она сказала:

- Значит, ты, наконец-то, открыл природу, Дерек.
- Думаю, это не совсем то, – ответил я, думая о Констебле и Кенте Сэмюэля Палмера.
- А, понятно. Ты открыл современную природу.

В июле мой берег украсили два вида дикого мака – *Papaver dubium* и полевой мак-самосейка *Papaver rhoeas*. Я аккуратно собрал семенные шапочки и разрыхлил граблями почву, поскольку маки любят расти в свежевскопанной земле. Остальные семена разбросал по округе... Некоторые всходы уже два дюйма в высоту, но их, похоже, очень любят слизняки; впрочем, побеги выживают и скоро вырастают вновь.

В прошлом году я снимал маки и летавшую над ними пчелу, вставив эти кадры в «Военный реквием». Маки появляются во многих моих фильмах: «Воображая октябрь», «Караваджо», «Прощание с Англией» и «Военный реквием».

Алые маки

Это мак
Цветок полей и пустошей
Кроваво-красный
Два чашелистика
Опадает быстро
Лепестка четыре
Много тычинок
Лучевидное рыльце
Много зерен
Чтоб хлеб посыпать
Хлеб насущный
Вплетенный в венки
В память о мертвых
Приносит грезы
И сладость забвенья¹.

6-е, понедельник. февраль 1989

Настоящий летний день; облачная гряда несколько раз то наступала на Несс, то отступала обратно. К трем начался отлив, и я за час по песку дошел до магазина Джека купить сигарет. По пути видел двух испачканных нефтью кайр: одна была уже мертва, другая не двигалась. Почти ежедневно я вижу на берегу мертвых или умирающих птиц. У меня не хватает смелости убить их; завтра, конечно, они будут мертвы и разорваны на части воронами-падальщиками, которые бродят неподалеку от чаек, ожидая конца.

Вернувшись домой, я закурил и отправился в сад, где, к моему удивлению, зацвел розмарин.

В прошлом году ледяной февральский ветер едва не погубил мои цветы – в апреле они были почерневшими, грязными, но лето оживило их, и они превратились в сильные, здоровые кусты около фута высотой. Розмарин – *Ros marinus*, морская роса, – оказался довольно стойким. У моего соседа есть древний кривой экземпляр; во всех садовых книгах непременно упоминается, что он не выносит ветер, но трудно вообразить себе более ветреное и открытое место. Томас Мор, любивший это растение, писал: «Что до розмарина, я позволил ему украсить собой все стены сада, но не потому, что его любят пчелы, а потому, что это растение, посвященное воспоминаниям, а значит, дружбе. Если у кого-то есть веточка, все ясно без слов».

Растение было частью букета Офелии: «Вот розмарин – это для памяти». Позолоченный и украшенный лентами, он появлялся на свадьбах, а также его ветку вкладывали в руки мертвым.

По легенде, эти цветы были белыми до того дня, как Дева Мария решила высушить на кустах свое одеяние, окрасив их в небесно-голубой оттенок.

«Где цветет розмарин, там правят женщины». Много лет назад на острове Патмос старушка, на чьей крыше я спал, выстирала для меня одежду и надушила ее диким розмарином, собранным в холмах. В древней Греции молодые люди носили в волосах венки из розмарина, чтобы стимулировать ум; возможно, симпозиумы тоже были пропитаны ароматом этих цветов.

¹ Перевод А. Андроновой.

Вилла Зуасса, 1946 год

В 1946 году мы улетели в Италию, где несколько месяцев спустя мой отец стал начальником аэродрома в Риме и свидетелем военных судов в Венеции. Для нас была реквизирована вилла Зуасса, большой дом на Лаго-Маджоре с протяженными садами у берега озера.

«Прекрасные цветы и как их вырастить». Через несколько месяцев после моего четвертого дня рождения родители подарили мне большую книгу об эдвардианских садах, полную замечательных акварельных иллюстраций и маленьких аккуратных контурных рисунков: «Чайные розы, колокольчики пирамидальные и львиный зев» Хью Норриса. Моими любимыми были «Китайские примулы» Фрэнсиса Джеймса; они зачаровывали меня долгими дождливыми днями. Не представляю, где мои родители отыскивали эту книгу и почему подарили ее мне, аккуратно написав посвящение? Конечно, я не мог ее прочитать, а даже если б и мог, не знаю, что мне было делать с длинными перечнями акаций, акантов и тысячелистников.

Возможно, отец нашел ее в пыльном углу какого-нибудь миланского книжного магазина. А может, мать отыскала книгу в доме и дала ее мне.

«Прекрасные цветы» много лет оставались моей библией; я разглядывал ее экзотические страницы, раскрашивал цветными мелками иллюстрации и делал собственные первые рисунки-копии цветов.

Через много лет из одной акварели я создал огромный задник для «Ноктюрна» Сибелиуса, короткого балетного выступления: гигантская арка цветущих розовых орхидей, уменьшающая танцоров до размера фей, искусно запечатленных на спиритических фотографиях конца девятнадцатого века.

«Прекрасные цветы» начинаются с роз. Их щедро хвалят; не должно быть ничего застывшего, неестественного или формального ни в способе их выращивания, ни в использовании, ни даже в том, как о них писать, – красота рождает красоту. Кто может смотреть на изображение прекрасного сада и не испытывать желания выращивать цветы и какие у этого могут быть последствия? Сад, где бедное заблудшее человечество охватывают эмоции, рождающие мир и покой. «Взгляни на розу» – приказывает сад.

*Недолог розы век: чуть расцвела – увяла,
Знакомство с ветерком едва свела – увяла.
Недели не прошло, как родилась она,
Темницу тесную разорвала – увяла².*

Рубаи были первыми стихами, на которые я положил глаз. Вскоре последовали Данбэр и сам Бард; не было лучшего пути к поэзии, чем эта садовая книга.

Отец снимал на камеру, как мать собирает розовые махровые розы у стены сада моей бабушки и как они высыпаются у нее из рук; он снимал нас с сестрой в саду виллы Зуасса, где мы стояли перед клумбой с алыми геранями – зональными пеларгониями, напоминает нам моя старая книга.

Зональные пеларгонии! Для меня герань навсегда останется геранью. «Прекрасные цветы» описывают ее как «некогда царственную королеву цветочных садов, неунывающий цветок, лишившийся благосклонности». Но не для меня: я годами выращивал их на своем балконе в Лондоне, где они цвели постоянно, даже в самых неблагоприятных условиях.

² Перевод О. Румера.

Сейчас это растение встречается наиболее неприятных оттенков, а *Paul Crampel*, истинно алый, единственный подходящий цвет для герани, стал редкостью.

Истинно алый – большая проблема даже в костюмных фильмах; он был предметом многочисленных разговоров с Кристофером Хоббсом, художником, работавшим со мной над «Караваджо». «Я не могу найти настоящий алый, – жаловался он, держа в руках маленький квадрат древнего шелка. – Где в наше время есть такой цвет?»

Сад виллы Зуасса тянулся на целую милю вдоль пляжей Лаго-Маджоре. Он разливался по его каменным террасам – изобилие ниспадающих цветов, заброшенные аллеи могучих камелий, старые розы, спускавшиеся до озера, огромные золотистые тыквы, каменные боги, перевернутые и усеянные быстрыми зелеными ящерицами, темные кипарисы и леса, полные орехов и съедобных каштанов.

В дальнем углу леса стояла сторожка, где старуха, обитавшая в каком-то своем времени, копалась в больших поддонах, лежавших друг на друге, и носила охапки листьев тутового дерева на корм армии жадных шелкопрядов. В этом раю мы с сестрой, взявшись за руки, ходили голышом вдоль пристани, погруженной в озерные воды.

Погода была изменчивой: солнце быстро исчезало, с гор спускалась грозовая туча. Однажды большая стеклянная дверь захлопнулась с такой яростью, что разбилась на тысячу осколков, и мы пулей выскочили из-за обеденного стола. Но буря скоро закончилась, и те дни остаются в моей памяти наполненными солнцем. С рассветом в мою спальню приходила домработница Сесилия; длинной щеткой она выгоняла ласточек, влетающих в окно, чтобы свить гнезда в углах комнаты. Затем она ставила меня на кровати, смотрела, как я одеваюсь, и аккуратно завязывала мои шнурки.

После завтрака ее симпатичный восемнадцатилетний племянник Давид сажал меня на руль своего велосипеда, и мы отправлялись кататься по сельским тропкам или ехали к озеру и плавали там на старой лодке; я смотрел, как он раздевается на жаре и гребет вокруг мыса к тайной бухточке, смеясь всю дорогу. Он был моей первой любовью.

7-е, вторник. февраль 1989

Я насчитал больше пятидесяти бутонов у нарциссов, посаженных в прошлом году. Ни один из них еще не распустился, но, если теплая погода продлится, они раскроются в течение недели.

Это ранний сорт. Нарциссы *King Alfred*, посаженные в начале сентября, едва пробились сквозь грунт.

«Нарцисс, – пишет Томас Хилл, – подходящий цветок для выставок». Джон Джерард в «Травнике» рассказывает: «По словам Феокрита, нарциссы растут на лугах... он пишет, что прекрасная Европа, выйдя со своими нимфами на луг, собирала ароматные нарциссы, в стихах, которые мы можем перевести следующим образом:

*Но когда девы выйдут на цветущий луг,
Гуляют стайками, смеются, рвут цветы вокруг,
Одной Нарцисс душистый мил, другую гиацинт пленил»³.*

³ Перевод А. Андроновой.

Луковицами нарциссов пользовался Гален, хирург в школе гладиаторов, для заживления серьезных ранений и порезов; с той же целью их луковицы носили в ранцах римские солдаты. Возможно, так нарциссы впервые попали в страну. Название «нарцисс» – *daffodil, d'asphodel* – вызывает путаницу с асфоделем. Кроме того, их называли лилиями Великого поста.

Нарцисс – «предвестник ласточек, любимец даже ветров холодных марта»⁴. Когда я читаю эти слова, они наполняют меня печалью, поскольку цветоводы разрушили сезонную природу нарциссов, выгоняя их в наши дни задолго до Рождества. Одна из радостей, утраченных нашей технологической цивилизацией, это радость от встречи сезонных цветов и плодов; первый нарцисс, земляника или вишня принадлежат прошлому, как и драгоценный момент их появления. Даже мандарины – ныне клементины – спешат появиться за много месяцев до Рождества. Думаю, однажды я увижу нарциссы на рынке Бервик-стрит в августе в таком же обилии, как и появляющуюся под Рождество клубнику.

Не устояло даже скромное яблоко. Крепкие зеленые вошенные виды уничтожили все разнообразие моего детства – августовские розовые ароматные грушовки, лакстоны, ренеты; в этой бойне выжил только оранжевый пепин Кокса. Возможно, моя ностальгия неуместна – нарциссов сейчас полно, грибы, некогда роскошь, раздают фунтами. Авокадо и манго – обычное явление. Но нарцисс – если бы лишь нарцисс мог вновь появляться весной, я ел бы клубнику с рождественским пудингом.

В четыре выглянуло солнце, создавая длинные тени. Я наблюдал за тенью Хижины Перспективы, когда оно садилось за атомной станцией, до тех пор, пока конец трубы не коснулся моря.

Электричество гудит в проводах,
Чтобы жарились рыба и картошка.
На закате над галькой до меня доносится голос:
«Владелец автомобиля такого-то, пожалуйста...»
Тихий, спокойный день.

Я заварил свой ядерный чай, починил стены – выдержат бури с залива. В девять тридцать за церковью Лидда садится солнце;

Воздух наполнен ароматом левкоя. В десять включаю фонарь.

Ярко-розовый мотылек мерцает на бледно-голубой стене. Я быстро переворачиваю страницы книги —

Бражник винный.

8-е, среда. февраль 1989

На рассвете блестит галька, покрытая росой. Бледно-голубой туман окутывает ивы, пробуждаются жаворонки. Золотые крокусы во всей красе, божья коровка купается в бледно-синем огуречнике, распускается краснотал; позже холодным днем я возвращаюсь домой вдоль пляжа. Вокруг мерцающий переливчатый свет. Вермеер окунал свою кисть в такое же радужное спокойствие.

⁴ Перевод П. П. Гнедича.

13-е, понедельник. февраль 1989

Первый дождь за много недель, и тот вялый, хотя с сильным ветром. Он едва смочил гальку; за ночь один из кустов розмарина сбросил все листья – тот же, что в прошлом году оказался таким капризным. Крокусы, посеянные кругами, полностью вылезли, сражаясь в неравной битве с порывами ветра; за ними высокие морские волны брызгают белой пеной. К полудню распускаются первые нарциссы, склонившись почти до земли из-за суровой погоды. Мы молились о мощном ливне (прошлым вечером я полил сад у входной двери), а не об этой краткой перемене в изобарах.

Рим, 1946 год – сады Боргезе

Там мы жили в квартире, реквизированной у адмирала Чиано, дяди министра иностранных дел Муссолини.

«И вошел он в рай во время прохлады дня», где посадил «всякое древо, приятное на вид». Каждый парк – это мечта о рае; само слово *Paradise* на персидском означает «сад». Эта тень Эдема стала местом для виллы, которую Шипионе Боргезе выстроил в начале семнадцатого века. Здесь летними прохладными днями я катался среди акантов верхом на крепких осликах, доезжая под старыми кедрами до водных часов, которые хранили время в каскаде камней, укрытых папоротником.

Должно быть, само время началось после грехопадения, поскольку семь дней, за которые был создан мир, являлись, как мы теперь знаем, вечностью. Древние египтяне, измерявшие жизнь ежегодными сезонными колебаниями воды в Ниле, первыми заметили в них систему; сады Боргезе почтили египтян воротами в виде двух пилонов.

Во всех уголках парка отражалась История времени – поляны были уставлены монументами, отмечавшими его ход. Одним из них был круг из мраморных фигур, воздвигнутых в конце девятнадцатого века в честь объединения Италии: множество одутловатых поэтов, политиков, музыкантов и инженеров, проложивших путь современному государству. По-идиотски серьезные, эти молчаливые статуи всегда подвергались нашествиям граффитчиков – у некоторых были красные носы, и лично мне такие нравились больше всего.

Не представляю, что Шипионе со всей своей величественностью подумал бы обо всех этих фигурах, вставших на руинах его Эдема. Он прогуливался здесь в алой кардинальской мантии, основал династию и свою хвастливую разноцветную виллу – вульгарный позолоченный дворец наслаждений в современном ему стиле, наполненный множеством античных мраморных скульптур. Совсем не похоже на деревянную хижину Адама, без сомнения выстроенную в Раю из древа познания, – самый первый дом, который последующие поколения пытались воспроизвести в тысячах садовых домиков, сельских летних домах и *cottages ornee*.

Однажды, вернувшись в нашу квартиру на улице Пазиелло, чтобы попить чаю, я обнаружил, что все семь дней недели подчинялись теперь звонкам и урокам в американской школе.

Годы спустя в 1972-м я вновь оказался в садах Боргезе вместе с солдатом, которого встретил в кинотеатре Олимпия. На галерке он обнял меня, и позже мы занялись любовью под звездами моего Эдема.

Сиссингхерст, сентябрь 1988

Сиссингхерст, изящный содом в саду Англии, превращен в «национальное наследие» казенными руками Британского фонда охраны памятников. Его волшебство растворилось в безжизненных глазах туристов. Если два юноши поцелуются сегодня в серебристом саду, можете быть уверены – им укажут на выход. Тени Сэквилл-Уэстов, преследовавшие обнаженных гвардейцев на газонах, обрамляющих сад, несомненно возвращаются после отбытия последней группы любопытствующих туристов, закрытия кафе и возвращения публики домой, вынюхивая очередную жертву средних лет, оказавшуюся в не таких уж тайных объятиях юноши, жаждущего внимания и любви и выдающего секреты за иллюзорную надежность наличных. «Он спустил с него штаны и отсосал за двадцать фунтов в коридоре кино / общественном туалете / на пустой станции; они встретились в сомнительном клубе / на „Улице полумесяца“, в Дорчестере».

Молодых людей, держащихся на улице за руки, провожают насмешками; за поцелуй их могут арестовать. Важные политики и их последователи, священники и общество выталкивают их на периферию, во тьме которой их можно будет предать. Иуды в Гефсиманском саду.

Кембридж, осень 1948

Назад домой, на побитом бурями войсковом транспорте, из мраморных залов старого дома адмирала Чиано в Риме к свинцово-серому ангару под Кембриджем, наполненному плотными удушающими выхлопными газами и конденсатом, который быстро покрывает одежду плесенью.

На улице отец накачивает старую желтую резиновую лодку – самодельный бассейн. Она воняет резиной и быстро наполняется большими черными жуками-плавунцами, появляющимися словно ниоткуда – возможно, с больших ветвей орехового дерева, отбрасывающего тень на газон.

Осенними днями мы бросали палочки, сбивая твердые маленькие орехи в зеленой скорлупе, а потом, уставшие до головокружения, ложились на спину смотреть в небо, и дерево вращалось над нами, словно огненное колесо фейерверка.

Сад в Кембридже представлял собой одно ореховое дерево и неровную лужайку, из травы которой я конструировал травяные форты, сгнивавшие до такой степени, что разлагающаяся трава становилась скользкой. Сад огораживала старая кирпичная стена, покрытая гусеницами капустниц в разной стадии окукливания, гревшимися на солнце.

Желто-зеленые и черные гусеницы навсегда запечатлелись в моей памяти. Прошлой осенью настурция под окном, за которой я тщательно ухаживал, оказалась в осаде армии этих существ. Когда в октябре ударили первые морозы, гусеницы съели все ее листья и цветы.

тому, кому есть дело
в мертвых камнях планеты, которая уже не земля
он расшифровывает темный иероглиф, применяя археологию души
к этим драгоценным фрагментам
всему, что осталось от наших ушедших дней здесь, на краю моря,
я разбил каменный сад, каменные драконьи зубы вылезают из-под земли, защищая порог
верные воины

14-е, вторник. февраль 1989

Темно-синие небеса и ярко-желтый месяц среди звезд над мерцающими огнями атомной станции. Резкий западный ветер в ясном синем небе. Я прогулялся по пляжу, сорвал побег валерианы, растущей вдоль дороги, и посадил ее в уголке передней клумбы.

22-е, среда. февраль 1989

Вернулся после недели в Берлине, где в Zoo Palast показывали «Военный реквием». Тень моих ожиданий. Молчание в конце было целых... 30 секунд, которые показались двумя минутами; затем зрители начали тихо выбираться из зала, проходя мимо меня так, словно я был призраком, явившимся, чтобы их испугать.

Пока летел домой над освещенными солнцем облаками, читал описание Плинием его загородного дома:

В дальнем конце сада – анфилада комнат, которые поистине стали моими любимыми, ибо я построил их сам. С одной стороны – солнечная комната, выходящая на террасу и море; есть там и комната с раздвижными дверьми, открывающимися на галерею с видом на море. Напротив в стене – прекрасный альков, который можно превратить в комнату, раздвинув его стеклянные двери и занавески, или же, наоборот, отгородиться, если они закрыты; он достаточно большой, чтобы вместить диван и два кресла. Внизу у его основания – море, позади – соседние виллы, за ними – лес. Все эти пейзажи можно видеть по отдельности или вместе из многочисленных окон; рядом – спальня, в которую не могут проникнуть ни голоса домочадцев, ни шум моря, ни буря, ни вспышки молний, ни свет дня, если ставни закрыты.

Я начал уставать от кино, от этого заповедника амбиций и глупости, в вечной погоне за иллюзиями или, возможно, за бредом.

Вчера меня почти семь часов без перерыва забрасывали вопросами; голова кружилась, словно волчок. Сбежал. Вернулся домой на Чаринг-Кросс-роуд, где дверь была завалена очередной стопкой писем. Буду ли я писать? Судиться? Давать советы? Уделять внимание? Одобрять? Помогать? Телефон звонит до тех пор, пока я не сбегаю. Какое счастье приносит эта какофония? И чего я достиг, если чудесная вилла Плиния исчезла без следа?

Пока мы были в Берлине, Пол плохо себя чувствовал. ХБ пришлось тащить его наверх и покупать тьму таблеток, состав которых мы проверили: аконит, белладонна и так далее. Большую часть времени он провел в постели и вернулся домой с легочной инфекцией. Мой дорогой Говард продолжает улыбаться и оставаться в сознании весь год, что болеет, хотя не может ни ходить, ни читать, ни писать. Дэвид сгорел менее чем за неделю. Я не видел его, поскольку тогда мы начинали снимать «Военный реквием».

Тем же вечером гулял вдоль берега. Отлив был далеко у линии горизорта, и вода на песке, словно зеркало, отражала утасяющий розовый закат; на краткий миг солнце осветило лодки и дома, а потом исчезло.

23-е, четверг. февраль 1989

Великолепное солнце; небеса столь чистые, что видно до самого горизонта. К концу дня ветер набрал силу, пригнав драматические тучи, которые в конце концов пролились серой пеленой дождя. Над морем изогнулась радуга, и галька в лучах заходящего солнца заблестела, словно миллионы кошачьих глаз. С темнотой пришел град, барабания по гофрированной металлической крыше. Бедные нарциссы, приветствовавшие меня по возвращении, теперь прибиты к земле.

Название «нарцисс» связано не с именем юноши, который встретил свою смерть, тщетно пытаясь обнять свое отражение в прозрачной воде; оно происходит от греческого *narkao* («вводить в оцепенение»), хотя Нарцисс действительно был парализован своей красотой и умер, обнимая собственную тень. Плиний говорит: «*Narce Narcussum dictum non a fabuloso puero*», выводя название цветка от *narke*, а не от знаменитого юноши. Сократ называет растение «коронной подземных богов», поскольку луковицы, если их съесть, отключают нервную систему. Возможно, римские солдаты носили их с собой по той же причине, по которой американские солдаты курили во Вьетнаме марихуану (а не потому, что растение обладало целебными свойствами).

Это побудило меня позвонить Мэттью Льюису, фотографу-портретисту, и спросить, может ли он сделать фотографию молодого человека с нарциссом в руке. В прошлом году он сделал великолепный портрет красивого, обнаженного по пояс итальянца с лимоном, сок которого тот использовал для разведения героина. Нарцисс, наркотики, поглощенность собой – бесчувственный уход в себя.

24-е, пятница. февраль 1989

Серый ветреный день, холодно. Прошлым вечером вернулась зима, о которой мы почти забыли, и собирается задержаться еще на несколько дней. Я сложил перед домом плавник, отмечая новую клумбу, но для вскапывания решил дожидаться более теплого дня.

Вчера совершил оптимистичный поход в местный питомник в Грейтстоуне, где можно купить растения со скидкой, и вернулся с лавандой, розмарином, камнеломкой, монбрецией, ирисом и вычурной юккой. Упаковывая их в старый деревянный ящик, я услышал, как болтливый владелец лавки проговорил: «Вот черт. Никак не могу их сбавить; только посмотрите на эту клумбу – я не поливал ее с тех пор, как выстроил».

Дома я спрятал растения под навес и сделал из старого ящика парник. Посадил лук и выставил горшки на южное окно вместе с отростками герани, которые ожили после темной зимы в ванной дома Феникса.

Когда черный ураган поднял в воздух маленький дом в Канзасе и в яростном вихре понес в страну Оз, я выскочил из кинотеатра на улицу. Часто в своих детских снах я видел себя на скользком изумрудном полу, преследуемым солдатами Злой Ведьмы, превращенными в фалангу неумолимых марширующих гвоздей.

Детские воспоминания имеют забавную привычку повторяться. Примерно год назад, в ныне знаменитую октябрьскую ночь Великой Бури, я проснулся рано утром от беспокойного сна. Дул резкий ветер. Поначалу я не обращал на него внимания: Дангенесс открыт, и ветер здесь дует постоянно. В темноте я заметил, что стеклянный абажур в центре комнаты сильно раскачивается, а сама комната наполнена пылью, которую ветер выдувает из каждой щели. Я попытался включить свет, но электричества не было.

Меня охватили первые тихие волны паники. Я оделся, путаясь в темноте. Чувствуя озноб и тошноту, я отправился на кухню в задней части дома, отыскивая дорогу в свете маяка, который принял на себя главный удар бури, с каждой минутой становившейся все сильнее. Нашел свечу, зажег ее, но мерцающий свет только усилил чувство незащищенности и одиночества.

Снаружи во тьме светилась атомная электростанция. Я задул огонь. Разрушающаяся рыбацкая хижина казалась в темноте тем самым домом, каждая ее досочка была напряжена до предела. То и дело доска отрывалась от своей соседки, восемь десятилетий краски и смолы разлетались со звуком винтовочных выстрелов. Дом разваливался на куски. Я сидел и ждал, когда сдует мою собственную крышу или выбьет окно.

Ураган усиливался. Низкий несмолкаемый рев сопровождали теперь более высокие ноты: визг, стоны и свист банши приняли симфонические масштабы. Моя Хижина Перспективы никогда не казалась такой любимой, когда по ней, словно по барабану, били порывы ветра, который летел прочь, с воем преследуя другие жертвы. Вдоль берега в воздух взмывали черепичные крыши, опадая керамическим градом. Садовая стена провалилась, изогнувшись, словно змея; старый вяз рассыпался, словно коробок спичек. Хозяйственные постройки скрипели и соскальзывали со своих фундаментов.

Выйдя в серый рассвет, я осмотрел дом и увидел, что на нем нет никаких повреждений; вокруг бушевало море, оmyвая меня солеными брызгами, замерзавшими на окнах и до черноты сжигавшими утесник и раkitник. Огромные темные волны словно в замедленном движении катились идеальными рядами; их верхушки превращались в белую пелену, висевшую над берегом, словно туман.

Однако Хижина, в отличие от канзасской фермы, крепко стояла на фундаменте. Проведя всю следующую неделю без тепла и света, я смотрел на сверкающую атомную станцию у горизонта и думал, что, подобно Изумрудному городу и великому Волшебнику, моя жизнь и эта хижина оказались воплощенной мечтой, о которой я грезил в те годы в Риме.

«Волшебник страны Оз» напоминает мне о пугающей способности кино оказывать влияние на реальность. Рад, что все закончилось хорошо.

Я не знаю, сколько мне осталось, и не вижу причин, по которым мое сердце не может печалиться.

Холодный ветер дует на пустынном острове.

Над холмами и долинами, горами и болотами, вдоль больших дорог и тропинок, сквозь деревни, городки, города и столицы.

Он мчится по пустым улицам и сквозь заброшенные дома, стучит в разбитые окна, залетает в живые изгороди, барабанит в запертые двери.

Этот ветер дует среди высоких многоэтажек и колоколен, мчится вдоль рек, сквозь дома и особняки, пролетая по коридорам и лестницам, шурша блеклыми занавесками в спальнях, над коврами, в коридорах и склепах, в общественных и частных местах, среди забытых секретов, кресел, стульев и кухонных столов.

Ветер такой холодный, что кости мертвых стучат в могилах и крысы дрожат в канализации.

Фрагменты воспоминаний кружатся в водовороте и тонут во тьме. Под шквалом ветра переворачиваются желтеющие старые заголовки полузабытых газет, летящих мимо тусклых пригородных домов, уносящих в ничто политиков и некрологи, мусор бездействия. На миг мысль осветилась молнией. Радуги погасли, горшки с золотом ржавеют, забытые, как упавшие деревья, рассыпанные по полям и мертвым лугам.

Я размышляю о жизни воинов, внезапно покидающих свои чертоги.

Вожди, смелые и благородные,
Трепещу и сожалею о нашем времени.

Но ветер не задерживается ради моих мыслей. Он летит вдоль затопленных гравийных ям, ударяя по волнам с металлическим отливом, тяжело катящимся в ночи, мчится над галькой, шурша мертвым утесником и тощим воловиком, вдоль ручейков, сквозь выгоревшую траву, пока я сижу здесь, в темноте, держа свечу, которая отбрасывает на стену мою раздвоенную тень и влечет к огню мои мысли, словно мотыльков.

Я не двигался много часов. Годы – целая жизнь – проплывали мимо один за другим. Сейчас ветер поет.

*Вечность, вечность,
Где ты проведешь вечность?
Ад или рай, что это будет?
Где ты проведешь вечность?*

А потом ветер исчез, преследуя сам себя на гальке, теряясь в волнах, накатывавшихся на Несс, бросая шлейфы соленых брызг, растекавшихся по стеклам. От него ничто не скроется. Ни один человек не может считаться мудрым, пока не проживет в этом мире отпущенные ему годы.

Ветер зовет меня по имени, Пророчество.

Давным-давно творец разрушил землю, стихли радостные песни людей, древние здания гигантов оказались заброшены.

Ветер влетает в водосточные трубы, звенит в телеграфных столбах:

*Я как дуну, как плюну —
сразу снесу твой дом.*

Время разбросано, прошлое и будущее, минувшее будущее и настоящее. Целые жизни стираются из книги великим диктатором; царапанье пером по странице, твое имя, Пророчество, твое имя! Ветер кружит по пустой земле, швыряя пелену пыли; шипит свеча. Кто все это призвал? Я?

По всему миру стоят продуваемые ветром залы, покрытые инеем разрушенные дома; залы пиршеств разрушаются, короли, лишённые радости, мертвы; стойкий отряд гибнет у стен.

25-е, суббота. февраль 1989

Буря стихла к двум, после чего вернулась в четыре с внезапным порывом, освещенная одной яркой вспышкой молнии без грома.

Сирена выла с пол часа, потом стихла.

Во сне меня носит, словно лодку в открытом море, и ночью я всегда просыпаюсь. Не помню, когда было иначе. Почти сорок лет я спал довольно глубоко, затем что-то изменилось. Возможно, я пробуждаю себя сам, боясь умереть без сознания на исходе ночи. Бергмановский час волка.

На следующий день я не могу вспомнить, о чем тогда думал. Не запомнил ничего, кроме смутного беспокойства.

Сегодня вечером холодно, но я поднимаюсь и мочусь в темноте. Вернувшись в постель, я обнаруживаю, что подушки утрамбованы неудобными буграми, простыни разошлись с матрасом. Я задремал.

Утром буря порвала гору ламинарии, которая плавала туда-сюда на краю моря. Вновь начинается ветер, чайки летают еще ближе, будто в этом холоде я излучаю какое-то неошутимое тепло. Бродя вдоль прилива, нахожу три камня для новой клумбы. Рисую для них круг, но возвращаюсь в дом, когда начинается дождь, и сажусь за стол в ожидании холодного, сырого дня.

Прошло много времени с тех пор, как я коротал сырые зимние субботы в одиночестве, зная, что солнце не выглянет ни на секунду. Эти дни в городе заполнены обычной суматохой. Я проживаю детство, испытывая смутное беспокойство, пока дождь стекает по стеклам, приглушая звуки автомобилей с фарами, включенными слишком рано даже для мрачного февральского дня.

В детстве я обожал такие дождливые дни, вырезая из бумаги рыб и пуская их в ванной. Или играя в маджонг бабушки Мимозы, строя крепости из слоновой кости. Или выращивая кристаллический сад с помощью двух дешевых наборов химика.

Дождливые дни. Смотрю в окно, смотрю в окно... Бесконечные дни в пригороде, проведенные в бесцветных домах моих друзей – блестящие искусственные столостные розы и твердая сверкающая политура, – где я упражнялся в вежливых беседах. Или у себя дома, с энтузиазмом занимаясь хобби, которые были у всех нас: марки, кактусы, бабочки. Или катался на автобусе, чтобы потом бродить по пустым улицам Уотфорда до закрытия магазинов. Я ничего там не находил и знал, что не найду, возвращаясь в сумерках после прогулки, идя мимо серых зубчатых стен газового завода, под арками железнодорожного виадука, мимо одинокой пустой церкви из красного кирпича, слишком большой для своей паствы, мимо чахлах кедров в парке и водопроводной станции, все еще украшенной выпцветшим камуфляжем времен войны, назад, к чердаку и краскам, журналам, ножницам и неожиданным сочетаниям коллажей.

Пандемониум

Женский монастырь Святой Юлианы руководил дневной школой, куда в пятилетнем возрасте меня отправили жариться в адском пламени угроз, исходящих из уст крепких монахинь, вооруженных наклейками в виде звезд и святых, которые можно было прилеплять в конце двенадцати соединенных столов – каждому столу назначен свой апостол. Железные девы Бога, вооруженные тисками и кандалами католицизма, наводнили мой невинный сад сладкими обещаниями – ледяными апельсиновыми сочными конфетами. А для непокорных – линейка по запястью.

Приятные, отмытые с мылом лица, выглядывающие из монашеских платков, скрывали характеры столь же странные, как и всё, что позже было придумано на съемках «Дьяволов». Угрожающие роботы, невесты давшего обет безбрачия Бога, разнесли мой рай на куски, как грабители Амазонки, прорубая пути добра и зла к Раю, Аду и Чистилищу.

Эти змеи не приносили мудрости, лишь глубокое недоверие к арифметике, из-за которого позже, через много лет, я окажусь во власти налогового инспектора.

Когда мне было семь и я учился в школе-интернате в Милфорде, субботний день приносил нам две унции нормированных сладостей, которые мы разыгрывали в мраморные шарики на блестящем полу гостиной. Это занятие имело собственную терминологию: блоки, спирали, кошачьи глаза, хвостатки. Кто-то выключал свет, и мы начинали призрачную игру в салки, носясь в темноте, или играли в мяч; испачканные мальчишки в бесформенных серых костюмах, мы могли устраивать балльные танцы, ссорясь из-за того, кто должен вести, и наступали друг

другу на пальцы до тех пор, пока не оказывались схвачены одной из трех возвышавшихся над нами матрон, и были вынуждены маршировать.

Субботние прогулки под дождем по разросшемуся парку, который называли «джунглями», с его араукариями и доисторическими сорняками, или поход к обломкам «Ламорны», севшей на мель в одну бурную ночь у утесов в Бартоне по пути в южные моря. «Не подходите близко к скалам».

Глаза прикованы к земле; у ног – розовая приморская армерия. Дождливые субботы, бесконечная печаль детства, горизонты сжимаются, как морось; стоя у окна, когда по подоконникам барабанят капли, желать, чтобы что-то произошло, хоть что-нибудь. Все дома. Пустые улицы и эти огни машин, включенные слишком рано.

Водородные бомбы и спутник, долгоиграющие пластинки, Элвис и бубнящий бесхарактерный Бадди Холли, «Я люблю Люси», «Билко» и другие утомительные американские сериалы, неделя за неделей. Шел дождь, и характер моего отца ухудшался.

В моих записях постоянно возникает личная мифология. Точно так же, как маки, словно гирлянда, пронизывают мои фильмы. Для меня эта археология стала навязчивой идеей; для «специалистов» моя сексуальность – путаница. Вся полученная информация должна печалить нас, извращенцев. Но прежде чем закончить, я собираюсь воспеть наш уголок рая, часть сада, о котором Господь забыл упомянуть.

26-е, воскресенье. февраль 1989

Девятьсот пятьдесят миллибар, самое низкое давление за последние сто двадцать лет. Долгая прогулка по Нессу к электростанции, затем к домам береговой охраны, которые я прежде никогда не исследовал. Они стоят в центре обнесенной рвом насыпи, в конце большой области, бывшей некогда огородами.

Сложно найти хороший огород; прошлой осенью даже на пустошах я наткнулся только на один, когда путешествовал с камерой, снимая сельскую местность для «Военного реквиема». Супермаркеты уничтожили их. Некогда во всех этих домиках выращивали собственные овощи, еще до того, как во время войны была построена дорога. Сейчас этого уже никто не делает.

Весь день дул свежий ветер, но было довольно тепло.

Разметил и выкопал перед домом круглую клумбу. Напоследок посадил три маленьких отростка цветущего розмарина, забыв, что, в отличие от лаванды, зимой они не принимаются. Наткнулся на эти сведения в «Деревенском саду домохозяйки» Уильяма Лоусона 1617 года:

Розмарин, краса трав, распространен в Англии и других странах. Лучшее время для укоренения побега – сразу после праздника урожая... Привезенный из жарких стран на наш холодный север, он используется для приготовления мяса и в искусстве врачевания, а в основном для пчел. Розмарин и прекрасная эглантирия – подходящие орнаменты для двери или окна.

27-е, понедельник. февраль 1989

Дошел по пляжу до магазина; солнце – мутная вена расплавленного серебра в широком амфитеатре облаков, нисходящие ярусы оттенков серого со слепящими кремовыми краями, опускающиеся в море маленьких волн, падающих друг на друга в жажде поглотить пески. А пески отражают их, как ленивое старинное зеркало.

Вернувшись по своим следам, я собрался с силами и остаток дня доделывал круглую клумбу, положив компост и украсив ее плавником, галькой и круглыми кирпичами с берега. Мой сосед крикнул: «Когда начнешь вскапывать?»

Когда вся конструкция была закончена, она выглядела настолько привлекательной, что ей, по-моему, не требовались растения, хотя лаванда смотрелась бы хорошо, а у меня было семь свободных кустов. Сел в изнеможении, поставил «Ламентации» Таллиса и смотрел, как неторопливо заходит солнце.

28-е, вторник. февраль 1989

С утра было ясное синее небо; собрал на пляже камни, вернулся и посадил лаванду в клумбу, а юбку – позади, отмечая границу. Прекрасное утро.

Змея в форме \$

Кино, словно змея, проползает через всю мою жизнь, буйная повилика, тянущая свои высасывающие жизнь щупальца в каждую щель – несколько дней здесь, и я отлично это чувствую. Оно разрушило золотую тишину, идиллию, в которой я жил на складе в Бэнксайд почти восемнадцать лет назад. Я вновь задерживаюсь на «Военном реквиеме» – он не принес мне радости, опустошив бесконечными болтливими интервью, в которых работа исчезла под наплывом одних и тех же вопросов. Я закалил себя в те дни в Берлине – 30 интервью за два дня, а в перспективе еще больше.

Кино умирает?

Уже умерло?

В прошлом году вы сказали, что умираете.

В вопросе журналиста слышался упрек.

*Этим вечером из Берлина специально для новостей культуры RAI –
призрак на торжественном обеде.*

Вечерами я читаю новую биографию Эрика Гилла, который, пусть эксцентричный и даже глупый, пытался объединить искусство и жизнь, целиком отдав себя этой борьбе. Уитмен, Карпентер, Гилл и, ближе по времени, Ян Гамильтон Финлей и Джон Бёрджер – кажется, все они отправились по тому старому пути, по той дороге, где первыми прошли мистер и миссис Уильям Блейк, обнаженными играя в Адама и Еву в своем лондонском саду. Блейк и Уильям Моррис... все они оглядываются на земной рай. И все они не ладили с окружающим миром. Я чувствую это, выбрав для поиска «новое» средство – кино. Бобины вращаются, каждый фут пленки присвоен рекламой, пока у меня не начинает кружиться голова. Я забыл, с чего начал... если, конечно, вообще начинал; путь кино настолько ненадежен, что легко перепутать знаки – идти туда или сюда, пока не начнет подсказывать чутье.

Мое чувство смятения достигло апогея, подстегнутое публичным заявлением о ВИЧ-инфекции. Теперь я больше не знаю, где фокус – во мне или в умах моей аудитории. Реакция на меня изменилась. В ней есть элемент поклонения, который меня беспокоит. Возможно, я навлек его сам.

В любом случае у меня не было выбора, я всегда ненавидел тайны – язвы, которые уничтожают; лучше быть открытым и покончить с этим. Но если б это было так легко! Я изменился; мои безумные ночи с водкой превратились в досадные воспоминания, зуд перед сном. За два года лишь несколько случайных ночей вне дома. Даже с безопасным сексом я чувствую, что жизнь моего партнера – в моих руках. Вряд ли это позволит забыться. Я прошел долгий

путь, принимая такие ограничения, и все же мечтаю о маловероятной старости в образе волосатого сатира.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.